

В.И.ДАЛЬ



ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Владимир Иванович Даль

Хмель, сон и явь

Повесть «Хмель, сон и явь» (1843) посвящена крестьянской теме. С любовью и интереснейшими подробностями рассказывается в ней о жизни и быте крестьян среднерусской полосы, даны колоритные зарисовки с редкими и этнографическими наблюдениями. Пафос этого произведения – в утверждении права литературы на изображение жизни низшего сословия, труженика, человека от земли.

Владимир Иванович Даль

Хмель, сон и явь

Ведаясь промеж собою, в кругу людей, коим уже родом и судьбой назначено жить белоручками, мы удалены участием своим от жизни чернорабочей. Жизнь простолюдина кажется нам чрезвычайно однообразною, незанимательною: всем помышлениям указан тесный круг; вечные заботы о насущном хлебе; нет потребностей, кроме сна и пищи; нет доблести, кроме случайной; есть добродетель, покуда нет искушения, а нет искушения – где нет кабака.

Нельзя спорить против этого, нельзя и согласиться безусловно. Человек все один и тот же; отличается один от другого либо тем, что бог ему даст, – и этот дар даруется не по сословиям; либо тем, что приобретешь наукой и образованием, – и если это собственность высших сословий, то по крайней мере способность, восприимчивость к тому всюду одинаковая; либо, наконец, отличается один от другого кафтаном – и это различие, бесспорно, самое существенное, на котором основано многое.

В малоземельных губерниях наших значи-

тельная часть населения зарабатывает хлеб свой на чужбине и возвращается домой только временно, почти на побывку, принося с собою деньги на хлеб, на подушное и на другие нужды. В близких от столицы губерниях крестьяне уходят только на лето, а зимою или бывают в извозе, или занимаются ремеслом, или же, наконец, лежат на печи; но из дальних губерний работники уходят на два, на три и более года не только в столицы, но и во все концы царства; симбирцы, владимирцы, ярославцы строят дома в Уральске, Оренбурге, Омске и Тобольске. Во многих малоземельных губерниях большая часть господских имений на оброке, мужики ходят по всей России и одни только старики, бабы и дети сидят дома. Тысячи плотников, столяров, половщиков, каменщиков, штукатуров, печников, кровельщиков рассыпаются оттуда ежегодно по всей России; крестьяне целыми селениями держатся по наследству промыслов, к коим привыкли уже деды их. Целые деревни тверитян или новгородцев бывают летом в Питере штукатурами, а зимою сапожниками; привозят товар свой каждую весну, когда идут на

работу обозами в северную столицу нашу, отдают сапоги нипочем, лишь бы выручить зимние харчи, и эти-то обозы наполняют знаменитые лавки Щукина двора, где готовые и на вид порядочные сапоги можно купить за целковый, то есть дешевле, чем в Петербурге обходится самый товар.

Бурлаки и музуры – судорабочие и матросы идут вниз по Волге огромными толпами, с сермягою и котомкою за плечом, с парюю запасных лаптей на поясе, с деревянного ложкой, заткнутою на шляпе за ремень, лычко или бечевку; за пылью и грязью на этих людях больше ничего не видать. Бурлаки поднимают суда на лямках, бечевою, вверх по Волге, отправляясь сперва за этим пеши вниз, и при всем том народ обходится здесь судохозяевам в работе дешевле быков и лошадей. Вот работа и хлеб для самых грубых, не искусных ни в каких ремеслах околотков, и вот тот народ, который работает эту конскую работу в поте лица месяц сряду, с тем чтобы, отбив одну путину, пропить всё в три дня. Не стану поминать промышленников и дармоедов разных родов, кулаков, которые меняют по де-

ревням разные припасы, – кошатников, которые собирают колотковые меха, выменивая у баб кошек на деревянную посуду, – разносчиков и ходябщиков, а говоря собственно о ремесленниках, должно упомянуть и о крестьянских портных, которые ходят зимою по селам и, постукивая в окно, спрашивают: «Нет ли *шитва?*» – потом рядятся с *аршина* и с *овчины* и берут копейки по две, с уговором не пускать уже в эту деревню других портных – за что обшивают волостное начальство безденежно, – а обшив все село, идут далее и опять стучат посохом в окна. Нижегородские татары, возвращаясь домой под предводительством одного довольно статного мурзы, называемого всюду по пути князем, покупают на заработанные деньги башкирских (саратовских), киргизских и калмыцких лошадей, откармливают их путем по ночам воровски у стогов и скирд и перепродают по дороге с барышом извозчикам и ямщикам.

В этих малоземельных селениях заведено большею частью, что молодой парень должен заработать наперед известную сумму на отца и семейство свое, потом уже, уплатив го-

да три-четыре подушное за отца или деда и за малых братьев, идет он работать год или два на себя и женится. Тут не найдете вы мужика-домоседа, мужика, который не видал бы свету; только разве в больших семействах, пятериках, семериках, один постоянно остается дома. Может быть, это обстоятельство объясняет сильную склонность, всегдашнюю готовность крестьян наших к переселению; едва ли проходит спокойно два-три года сряду, чтобы какой-нибудь пустой, нелепый слух, бестолковая молва, бессмысленная сказка – приплетенная самым диким образом, ни к селу ни к городу, к новому узаконению или постановлению, – чтобы, говорю, какая-нибудь дико-образная сказка не подняла вдруг целые селения на ноги – бог весть куда, в какой-то баснословный край, где нет ни подушного, ни рекрутства. Тамбовские, воронежские, орловские, пензенские, калужские и других губерний переселенцы наводняют целыми ордами восточные пределы государства, кочуют, как цыгане, по нескольку лет сряду, то не получая отводу новых земель, то не соглашаясь селиться там, где указывают, то избирая по про-

изволу чужие частные или войсковые земли, поселяясь на них силою и возвращаясь по несколько раз опять на то же место, с которого сводят их посредством исправника или даже воинской команды. Господские крестьяне уходят до Астрахани, нанимаются там в бурлаки, в музуры, в тюленщики, в рыбаки, ходят в море, пропадают несколько лет без вести, не заботясь о давно просроченных паспортах, и нередко попадают в плен и рабство к адайцам или туркменам – рабство, коему правительство наше наконец ныне положило предел.

Кочеванье это, бесспорно, бывает поводом порчи нравов; мужик балуется, и многие обвиняют за это шатающихся крестьян; но на все есть свои причины, и нам кажется, что, объехав, например, Владимирскую губернию, не станешь дивиться, для чего тысячи рабочих рук ежегодно ее покидают. Тут почва большею частию так дурна, что, глядя на этот сыпучий песок, перемешанный с какою-то мертвою, серою пылью, на болото, мшину и кочкарник, обгорелые пни и коряги, пожалеешь о потовом труде мужика, поднявшего ле-

мехом каждый клочок и уголок, где только можно протащить одноконную соху. Если немец или англичанин сумели бы извлечь из этой неблагодарной почвы десятирицею больше нашего, то это еще ничего не доказывает; чего мы не знаем, тому не верим, а чтобы разуверить человека, у которого все основано на опыте, на завете отцов, — должно убедить его и переучить делом, а не словами. Есть, без сомнения, и другие причины этой страсти к переселению — но их оставим в покое. Везде хорошо, где нас нет.

Во Владимирской губернии на большой дороге есть село, известное по мастерству и прилежанию своих крестьян, плотников и столяров, в числе коих наберется и десяток-другой краснодеревцев. Село это известно под названием Глухого Озера и почти поголовно уходит в заволжский край на работу. Тут жила большая семья Воропаевых; дед сидел уже дома на печи, а отец и четверо сыновей ходили постоянно, по вызову подрядчиков, куда только путь-дорога лежит, и кормили и оплачивали всего не менее семнадцати душ. В числе подрядчиков этих был и родной брат отца-Во-

ропаева, а дядя четырех сыновей; ему по-счастливилось в работе, хозяин был он хороший, мужик смышленный, сшил себе синнюю сибирку, взял сажень в руки и стал держать артель.

На этот раз плотникам нашим случилось проработать лете всем вместе или поблизости одному от другого; отец собрал их к зиме и велел собираться так же домой вместе всем, тогда как обыкновенно хаживали они поочередно, на общий счет, чтобы не больно издержаться. Рассудив, что степную лошадку можно продать без убытку на каком-нибудь яму, Воропаевы купили пару коней, и около рождества старик наш с сыновьями прибыл домой. Он не был на родине уже два года и подкатил на санях под ворота с резной стрехою – как снег на голову; никто его не ждал. Вошед не торопясь в избу, он отсунул от себя левой рукой старуху свою, которая, закричав от радости: «Ох ты, родимый мой!» – бросила было веретено свое и кинулась сдуру обнимать мужа. Он помолился преспокойно иконам, между тем как жена заливалась слезами; потом уже вымолвил: «Здравствуйте», поцеловал

старуху свою, дочерей, малых сыновей и внуков. Вошли и приезжие четыре сына; семья жила нераздельно в большой, просторной избе на две половины с комнатками. Вскоре сбежались и замужние дочери и кто был на селе из зятьев; тут пошли шурья, свояки, свояченицы, тещи, невестки, кумы, кумовья – русский человек без сродников не живет, – и набралась полная изба. Отцу своему Воропаев-отец поклон в ноги; жена ему поклон в ноги; словом, все пошло своим порядком, и сродники кланялись низко отцу, дюжему плотнику, целовались с сыновьями его, говорили приличные речи, как следует по закону, например: «Как вас бог миловал? Подобрю ли, поздорову? Соскучились мы по вас совсем» – и прочее, а затем приезжие разделись, то есть распоясались, скинули тулупы и кафтаны, уселись вокруг стола, заняв красный угол избы, а бабы подавали есть и пить, толпились около печи, за загородкой шарили в резном поставце, выгоняли из-под лавок кур, которые думали воспользоваться праздником и суматохой и втерлись под ногами у посетителей в избу. Между тем ребяташки, растянув-

шись на краю полатей ничком и потряхивая головами, глядели на все это, мигая и толкая друг друга. Кроме корчаги щей и горшка каши, плотники наши опорожнили вскоре два огромные кувшина квасу и отрезали себе на закуску по сукрою хлебца четверти в три, посыпав его крупною, как горох, солью.

– Добрались-таки опять до своего хлебушка, – сказал отец, – а было и есть его разучились.

– Нешто, – отвечал сын низовым наречием, к которому привык на работах своих, – нешто добрались; а и белые калачи их ладно под зуб лежатся, батюшка, что у нас вот пирогами зовут. Там хлеба век не знают, – прибавил он, оборотившись к свояку, человеку не бывалому, который сидел дома на хозяйстве, – все калач, что по-нашему пирог.

– То-то ведь мы и ходим к ним калачи-то есть, – заметил отец, посолив еще раз из солоницы ломоть свой и стряхивая над ним пальцы, – что у них калачей-то много, что сами они с ними не управятся.

– А рыбы-то у них, рыбы, – начал другой сын, – хоть круглый год постись; и свиной ры-

бой кормят, и собак рыбой, да и коровы, брат, там рыбу едят; ей-богу, едят! Вот земля!

– Разумеется, так, – сказал один из сродников, – что город, то норы.

– Как так коровы? – спросил свояк, которому понятливость или стоворчивость сродника не пояснила дела.

– Да так, брат, едят, да и только; пожалуй, хоть отца, батюшку спроси и братьев, чай не дадут соврать; вот хоть и в самой Астрахани: заместо того что у нас дадут корове месиво какое, что ли, а там вяленой рыбки соленой подкинут ей, она и жует ее, ровно хлеб.

– А народу что там некрещеного, – начал другой, – так господи воля твоя! Ровно в собачье царство какое забредешь, так вот вокруг тебя не весть по-каковски и лают.

– Вишь ты, брат!

– Калмык про махаи толкует, карсак (кайсак) про свое там что-нибудь, татарин *кильмунда* [1], *кизилбаш* [2] молчит, сидит себе, таки вот хоть не води ушами, не при тебе писано!

Гости, и в особенности бабы, дивились всем чудесам этим; вскоре, однако ж, посто-

ронные все разошлись с поклонами и остались одни хозяева. Смерклось; подали светец и лучин; отец позвал деда на совет, заперли двери на крючок, выслав наперед баб, – достали и сосчитали принесенные с собой деньги, рублей по двести на брата, кроме того что переслали уже домой на оброк; рассчитали, сколько и куда из них пойдет; потом убрали деньги, позвали баб, и отец роздал жене, дочерям и невесткам по платку; и мужья вытащили гостинцы свои; отец с дедом потолковали о том, где кто работал, по чему брал, что прохарчил и заработал и сколько принес. Наконец старик Воропаев, подозвав к деду третьего сына своего, Степана, принес на него горькую жалобу, что он-де стал ми с того ни с сего погуливать и немало денег пропил. Гневно вскинулся дед на робкого Степана, который кланялся ему в ноги, божился и заклинался, что вперед не станет никогда, даже в рот ничего не возьмет, – но у деда глаза горели, седой волос придавал суровому красному лицу его грозный вид; белая борода, пожелтевшая уже местами, как поблеклый лист, дрожала. Степан горько плакал, и сам отец,

отступившийся от него в начале жалобы своей и предавший его гневу дедовскому, начал помаленьку задабривать деда, ручаясь за сына на будущее время. Степану объявили, что он с будущей весны пойдет работать на свое хозяйство, что пора его женить.

– Да гляди ты у меня, – прибавил дед, постукивая костылем своим в половицу и потряхивая выразительно по поясу разостлавшуюся бородой. – Гляди, Степан, коли ты у меня пить не бросишь с сегодняшнего дня, то господь попутает тебя, покарает, и наживешь ты себе неизбывное горе.

Настал март, и Степан, положивши на прощанье еще раз большое заклятие, что хмельного в рот не возьмет, стал собираться в путь. Хоть он и зарекался искренне и не пил дома во всю зиму, – но ему как-то боязно было идти в одно место с отцом и с братьями, и он пошел в Саратовскую губернию под предлогом, что там-де, слышно, лучше платят. Как хорошему плотнику, ему и точно дали триста восемьдесят рублей на хозяйских харчах за лето, то есть от пасхи до покрова, либо до Кузьминок, до Козьмы и Демьяна [3], или ссыпчи-

ны [4], также девичий праздник, потому что девки сходятся в одну избу, приносят каждая что-нибудь съестное, готовят вместе ужин и празднуют свой праздник. Степану пришлось работать с небольшою артелью, сперва в одной барской усадьбе, а там в удельном имении [5], где рубили избу для приказа. На барском селе жил так называемый в тех местах дворник, или содержатель постоянного двора. Этот человек был некогда господским, взял себе в голову, что не хочет служить у господина, хочет на волю, – а уж как русский человек заберет себе в голову что-нибудь, то справиться с ним мудрено. Тут ни опасности, ни очевидная бессмыслица предприятия и здравые, благоразумные убеждения ваши не пойдут впрок: «Оно все так», – подумает он, а иной раз и скажет: «Да уж власть господня, что будет, то будет, а я уж хочу того либо другого, уж пусть так и будет». Таким образом, молодец наш, забрав себе в голову, что ему надо быть мещанином, и собрав бог весть из каких источников бестолковое сведение, что на Черном море можно приписаться, собрался и ушел. С этого первого похода на Черное

море привели моего молодца, перехватив его где-то на перепутье, с выбритой наполовину головой; но как он твердо вознамерился достигнуть во что бы то ни стало обетованной земли своей, то он вслед за тем попытался в другой, и третий, и в десятый раз, каждый раз возвращался по пересылке с бритой головой и до того надоел наконец помещику, что этот отпустил его на волю за триста рублей, которые неизвестно каким образом очутились у Черноморца – прозвание, приданное ему единоголосно целым селом.

Черноморец поселился в Саратовской губернии, в помещичьем имении, и у него достало бог весть каких денег купить избу и выплатить помещику за год вперед оброк за постоянный двор. Степан случайно познакомился с ним, когда еще в прежние годы тут работал, свел даже какую-то хмельную дружбу и не раз в прежние годы вместе с ним бывал пьян. В этот раз Степан крепился и держался; вскоре артель перешла на работу в удельное село, и может быть, вся дружба их тем бы и кончилась; но Степан остался работать и на зиму, потому что работа нашлась, и ему хоте-

лось принести более домой, утешить отца и деда и жениться. Тут подрядчик послал его на саях в одну лошадку забрать в господском селе какой-то оставленный там плотничный прибор.

Степан заехал переночевать к своему Черноморцу и тут-то на досуге и на приволье, как гость, противу потчевания не устоял. А хозяин поил его вечерком с особенным усердием и заставил признаться в дружеской беседе, что у него в нательном бумажнике есть сотни две заработанных денег. Легли спать: гость на лавке, под образом, а хозяин с хозяйкой за перегородкой. Степан заснул, как лег, но ему привиделся страшный сон: родной дед его, в красной рубахе, с седыми как лушь волосами, пожелтевшею бородою, со страшными глазами и загорелою клетчатого как юфть шейей, стоял перед ним и хотел его зарезать за то, что внук напился пьян. Степан проснулся и перекрестился; холодный пот проступил у него по всему телу. Хмель прошла, сон прошел, сердце стучало вслух, и Степан лежал целый час, едва переводя дух, едва смея вздохнуть.

В это время послышался ему легкий стук и шепот за перегородкой. Степан уставил впотьмах глаза в потолок и стал чутко вслушиваться: хозяйка упрашивает и умаливает хозяина о чем-то, а он ее сурово отталкивает и приказывает вздуть огня. Она все свое; он сердится, грозит, но шепотом; наконец Степан слышит ясно, что речь идет о душе его; хозяйка говорит:

– Родной ты мой, полно, покинь; не тронь его, господь с ним, мало ль ты уж на душу свою греха принял! Ну, за что ты его погубишь? Побойся бога хоть раз, не тронь его...

Степана дрожь проняла до мозгов, однако он нащупал наперед всего топор свой, сел, кашлянув громко, и спросил:

– Хозяин, никак и ты не спишь! Вели, пожалуйста, огонька вздуть да разочтемся за сенцо, мне, чай, уж ехать пора.

Хозяин дал хозяйке своей тихомолком зуботычину, велел вздуть огня, – и она на этот раз послушалась, – вышел к Степану, сказал:

– Что так рано, еще никак первые петухи только что замолкли?

– Да так, – отвечал Степан, – лошадь, вид-

но, уж отдохнула, так пора собираться; хозяин наказывал пораньше поспеть на место.

Степан рассчитался с оглядкой, оделся, заткнул топор за пояс, пошел закладывать своего мерина, сказав, что зайдет еще, но вместо того сам растворил ворота, перекрестился, сел и поехал: хмель, говорит, всю из головы выбило, и следу не осталось.

Выехав за село, Степан пустил лошадь свою шагом и стал думать о том, что с ним случилось. Не верилось ему как-то, чтобы Черноморец посягнул на такое дело, и Степан уже почти готов был подумать, что все-де это ему во сне привиделось либо с похмелья померещилось. В это время другие мужицкие сани догоняли рысью Степана и кто-то кричал:

– Сворачивай, не видишь, что ли?

Степан оглянулся впотьмах, голос показался ему что-то знакомый.

– Сворачивай, тебе говорят!

– Тесно, что ли, тебе по дороге, – отвечал Степан, – объезжай стороной.

Наехавший сзади своротил в это время в сторону и в ту же минуту вдруг ударил изо

всей силы Степана цепом. К счастью, Степан, напуганный уже вперед знакомым голосом и подозревавший что-то недоброе, не спускал с глаз своего попутчика и успел уклониться несколько от взмаха цепа, так что удар пришелся только в грядку саней и часть ноляжке. В один миг Степан выхватил цеп из рук убийцы, взмахнул и ударил его самого изо всей силы в самое темя; тот свалился в сани и уже не вставал. Лошади сбили между тем одна другую к краю дороги и остановились, упершись головами в сосну.

Степан перекрестился, слез с саней, оглянулся кругом – все тихо и пусто; подошел к недругу своему, посмотрел ему в лицо – он, он и есть. Черноморец, хозяин постоянного двора! Итак, отпустив плотника из дому и опасаясь, может быть, что он слышал ночной разговор и донесет теперь о злом умысле хозяина, этот решился нагнать его дорогой, хотел заставить своротить, чтобы отвлечь внимание его от себя, и наездом думал сбить его ударом цепа и обобрать. Судьба посудила иначе; хозяин лежал убитый перед плотником, а этот, радуясь своему спасению, не знал, куда, однако же, со

страху деваться: он убил человека, будет сидеть в остроге, судиться – словом, пропадет.

Подумав немного, Степан, опасаясь всех страшных последствий, решился скрыть и утаить этот случай. Он нашел в стороне от дороги порядочный овраг, заваленный снегом и хворостом. Очистив одно место, он свалил туда убитого, прикрыл его опять хворостом и снегом, а лошадь оборотил назад и пустил по дороге домой. Затем Степан сам сел и поехал.

Ночь, темно, холодно, пусто и глухо. Задумался Степан наш и рассудил наконец, что всему-де этому виновата проклятая чарка. «Она меня было замертво спать уложила, и кабы не сон, кабы не приснился мне грозный дед, так, видно, и не вставать бы мне с лавки. Ох, чуть ли не правду он говорил мне, что наживу я горе неизбывное, – чуть ли это не оно и приспело. Не стану пить; вот, ей-богу, господь видит, не стану», – снял шапку и перекрестился, на небо глядя, и заплакал.

Приехал Степан в господскую деревню, куда его послали, принял, что следовало, переночевал, накормил лошадь и пустился опять назад. Страшно как-то было ему подъезжать к

селу, где свершилось над ним прошлую ночью столько недоброго; сердце стучало, и Степан наш робко оглядывался. Время опять было под вечер; улицы на селе тихи, почти пусты, кой-где баба с ведрами, мальчишка в братнем тулупишке, в отцовской шапке; огонек кой-где уже светится в окна – словом, все мирно, тихо, приветливо. Стали мучить Степана и страх и любопытство; дай-де узнаю, что теперь делается в доме моего Черноморца. Подъезжает – и тут все тихо, огонек виден в окно, ворота заперты. Степан подумал – да и стукнул кнутовищем в ставень.

– Что надо?

– Покормить лошаденку, пустите.

Хозяйка отворила волоковое окно [6] и высунула голову:

– Нет, господь с вами, проситесь к другим, нельзя.

– Что так? Ведь вы ж, бывало, пускаете?

– Пускаем, да теперь нельзя, хозяина нет дома, без себя пускать не велит; да это ты, Степан! Я было тебя и не узнала! Нет, кормилец, без хозяина пустить не смею, собачиться будет, ей-богу; ступай вон наискосок, к Феду-

лову, там пустят, и сенцо у них свое, хорошее.

– Да где ж у тебя хозяин? Ведь вчера дома был, как я ночью уехал?

– А кто его знает, куда его занесло; вслед-таки за тобою, господь знает зачем, заложил сани, сел да и поехал, – а еще и деньги при нем были в бумажнике, рублей со сто никак; видно, запил, что ли, где-нибудь; диво только, что лошадь сама домой пришла, – аль он хмельной упустил ее, – пришла одна, и место, знать, в соломе на санях, где сидел, а его, вишь, нет.

Степан простился, сел и поехал, а хозяйка затворила окно. «Стало быть, – подумал он, – никто ничего не знает. Да и что ж мне, вправду, чего бояться? Я выехал себе наперед, приехал – хоть разыскивай сколько хочешь – в Родимиловку, никуда не заезжал, никто не видал; он выехал после меня, – с чего ж тут кто на меня скажет? Никто и не подумает, и подумать нельзя никак. Однако сто рублей, говорит хозяйка, при нем были, а кому они достанутся? Никому; тут и пропадут, сгниют, как весна придет, только и будет проку. А наш брат, рабочий человек, бьется целое лето изо

ста рублей... эго диво, подумаешь, сто рублей! И никто за них спасибо не скажет, никому впрок не пойдут, так себе изведутся. Ну да не до них теперь; благо только самого господь от беды помиловал».

Поравнявшись дорогой со знакомым ему местом, Степан стал, однако же, думать и размышлять об этих деньгах посмелее: «Как-таки проехать, не взять денег, не поднять их с земли, когда тут валяются? Никого я этим не обижу, ни у кого добра не отымаю – просто само навернулось». Степан остановился, прислушался на все стороны – все тихо, глухо, никого нет. Он спустился в овраг, отыскал покойника, нашел при нем тельный бумажник, вынул из него деньги и поторопился опять в путь. «Завтра сосчитаю, – подумал он, – не уйдут они теперь. Я этого не искал, за этим делом не ходил, он сам навязался. Это мне, стало быть, бог послал. Недруг посягал на мою голову – господь ему судил самому подвернуться мне под руку; не перелобань я его, уж он бы меня доехал. Грех на его душе, не на моей; он сам себя извел, своею рукою. Прости, господи, согрешения наши!» Перекрестился

и поехал. Степан до этого времени помнил страшный зарок деда, соблазнившись один только раз на ночлеге у покойного Черноморца, зарекся и закаялся после того вдвое и в рот не брал хмельного, но приехал к хозяину в Родимилровку с деньгами, которым никто не знал счета, он обождал еще с недельку, уверился, что никто его ни в чем не подозревает, что о Черноморце и слуху нет другого, как поехал-де да и пропал без вести, а лошадь одна воротилась, – и стал опять – с горя ли, с радости ль – погуливать. Куда правдиво слово это, что недобрые деньги впрок нейдут и что легко добытую копейку ветром из кошны выносит!

Пошел да пошел гулять Степан – под конец и удержу не стало, хозяин его прогнал и вычел еще с него за прогул по целковому на день; пошел он к другому, пропив все до нитки, а домой еще и гроша не услал. Пришел покров, пришли и кузьминки, настал и последний срок – воздвиженье, – и новый хозяин, рассчитавшись со Степаном, отпустил его, сказав: «Не ходи ко мне, брат, на тот год – руки у тебя золотые, да рыло поганое. Таких

мне не надо. Господь с тобой».

Степан нашел себе у нового хозяина нового товарища, с которым нередко вместе гулял; а как им домой было сотни полторы верст по пути, так они согласились идти вместе. Люди с людьми ушли, а эти двое, как поплоче, так остались вместе – им совестно было к людям приставать.

Теперь стала Степана и совесть мучить, стал грех ото сна, от еды отбивать и страх: что дед скажет, что отец? Степану стало жарко. Взяло его раздумье: «Как я покажусь им без денег? Что принесу домой? А еще и Черноморца ободрал, как разбойник какой, – и все не впрок пошло!» В это время подошел товарищ его, Гришка, да и пристал к нему: чего-де нос повесил, какое горе мыкаешь? Степан признался, что страшно без денег дома показаться.

– Эко горе! – сказал Гришка. – Да ведь у меня, парень, та же беда: заварил пива, да стала нетека; рублев осемнадцать всего домой принесу, а надо бы, говорят люди, сотни полторы либо две. Но слушай, Степан, не пойдем мы с тобой по домам; что там делать? Не слы-

хали мы побранки, что ли?

– И рад бы нейти, – отвечал Степан, – так у меня паспорт только годовой: о пасху срок.

– Так где же еще у тебя пасха, перекрестись! Вот тут подрядчик не за горой, набирает народу в Казань; отпиши домой, что ушел в Казань на зимнюю работу, тебе паспорт выправят, вышлют, а ты зимой заработаешь сотенку; лето само по себе пойдет – вот на осень опять будешь с деньгами; тогда с богом домой.

Степан наш словно свет увидел; с радости позвал Гришку в питейный, чтоб почествовать его за доброе слово, да кстати уж запить и радость и горе.

Таким образом, они, порядившись с подрядчиком, отправились в Казань артелью, но, не доходя до города, отстали от своих: надо было ведь опять приготовиться к работе; там уж нить не дадут, рассудили они вдвоем, так дай тут вволю на прощанье погуляем, да и закаемся.

Подгуляли товарищи вместе, да подгулявши, как водится, сперва обнимались, целовались, а после – неведомо как и с чего – поссо-

рились, побранились да немного было и подрались. Народ рад такому случаю: где два дурака дерутся, там уж наверное третий смотрит. На эту пору, однако ж, нашлись, видно, люди поумнее, развели драчунов, и они снова помирились, поцеловались и пошли вместе рука в руку в город. Кто видел их, сказывали, что они шли мирно и толковали только один другому, как найти и доспроситься в Казани своей артели и подрядчика: каждый из них поочередно недоумевал, как это сделать, и каждый опять толковал и объяснял, что язык до Киева доведет, не только до подрядчика.

Видно, долго перекачивались они с одного края дороги на другой: сумерки, а наконец ночь захватила их еще на пути. Сели товарищи наши вместе отдыхать под кустами над Волгой – снова стали считаться, видно хмель еще не прошла, – снова побранились и подрались, может статья, кто их знает, что у них тут было, – да только конец вышел из плохих плохой, такой, что крещеному человеку и вымолвить страшно.

Степан просыпается на заре – оглядывает-

ся кругом: он один; вокруг по косогору кусты, над головою по горе пролегает почтовая дорога, и тройка пронеслась с колокольчиком – пыль за нею разостлалась, – и все замолкло; у ног раздольная Волга, широкая, глубокая, тихая, как зеркало, – а товарища нет.

Стало обдавать Степана из-за плеч попеременно то варом, то студеной водой – начал он вспоминать что-то недоброе, – глянул себе под ноги на траву, увидел кровь и вдруг вспомнил все, будто молния осветила перед ним потемки страшной прошлой ночи. Степан зарыдал, закрыл лицо руками и долго сидел так, охал и стонал, как тяжело больной.

– Суди меня бог и государь, – сказал он наконец, – видно, по грехам моим и земля меня не снесет больше; за что я сгубил Гришку сердечного? Черноморец – ну, тому туда и дорога, прости господи: он на мою голову посягал; а этот чем виноват? Хмель ошибла его, как и меня, вот и все; а сколько раз подносил он мне, как товарищу, за последнюю гривну свою? Ох, тяжело, не снесу я этого греха! Не слушал я дедовского заклęcia; знать, рассудил меня с ним господь: вот оно когда при-

шло неизбежное горе – не роди, мать сыра земля, пропащий я человек!

Степан встал, положил еще на прощанье земной поклон и поцеловал под собою мать сыру землю; перекрестился и взмолился в слезах: «Гриша, не попомни ты мне хоть на том свете греха моего», и пошел в город.

Натоцак, как был, – не до еды ему теперь стало – явился Степан в земский суд. Рано, говорят, еще никого нет. Степан сел у ворот, где было человек с десятков разных просителей, и стал дожидаться. «Мое не уйдет от меня, – подумал он, – вот эти бедняки стоят всякий за своей нуждой, всякий добивается чего-нибудь, ищет за неправду, за обиду, а я ищу на себя. Суди бог и государь, а уж прощай, свет белый, родимая сторонушка, не видать меня тебе! Вот отец сердечный прочил за меня Марью, Машку Сошникову, – вот тебе и жених! Девка она хоть куда, нечего сказать, да уж я ей не под стать. Ах ты, головушка моя бедная, в омут какой усадила! Правду, видно, дед родимый сказывал, что коли пить не бросишь, Степан, так господь попутает тебя, покарает и наживешь ты себе горе неизбежное! Ох, оно и

есть, оно и привалило теперь, неизбывное, вековечное, даже до представления света!»

Заседатель пришел – а в те поры этих становых [7] и слыхом еще не слышать было, – и Степан к нему, да в ноги. Заседателю надоели, видно, просители, и много их за день у него в ногах переваливается, он было и мимо; так Степан слово и дело вымолвил [8]: «Прикажете, говорит, взять меня, я ночью человека убил»; так все и ахнули, и сам заседатель оборотился, поглядел на него, позвал в присутствие, поставил караул и стал допрашивать: как зовут, кто таков, чей, откуда, зачем, где паспорт, который год, какой веры, был ли у святого причастия, а там уж дошел до дела.

– Степан я, Воропаев, по отце Артемьев, годов, видно, будет мне чуть ли не двадцать четьре, Владимирской губернии и уезда, села Глухого Озера, православный, у причастия бывал каждогодно. Пошел я с товарищем Григорьем из такого-то села за таким-то делом в город; на дорогу выпили мы оба; шумело в голове у меня, шумело, видно, и у него; пошли мы считаться, что, вишь, он взял у меня полтинник да отдавал по гривне и по две, а я счи-

тал еще за ним пятнадцать копеек, – раза два бранились, и чуть до драки не доходило – все, батюшка, хмель виновата, ничего не помню, хоть убей. Тут сели мы отдыхать да полудновали; опять я его попрекнул, опять стал считаться; он обидел меня, маркитантом обругал, я его – ох, и вымолвить страшно, – я его обухом в голову и ударил: на грех и топор этот случился под рукой. Гриша мой покатылся, кровь носом полилась ручьем; я испугался – а мы сидели под кустами, недалеко от берегу, – испугавшись, я его стащил на берег, сунул в воду, да и спустил его по воде; так и сгубил я душеньку занапрасно. Видит бог, батюшка, все одна хмель виновата, ничего знать не знаю, ведать не ведаю. Что было, все сказал; теперь что господу богу угодно, то и станется надо мной; что следует по закону, то и делать прикажите – и прикажите заковать.

Все это записали, приправили, как надо было по закону и земскому обычаю, – и Воропаева, связав, повели заковывать в кандалы. Сам подавал и держал Степан и руки и ноги; «не жаль, говорит, их было – туда и дорога, лишь бы скорее конец, лишь бы не дали

сгнить в остроге».

Отвели и туда его; там караульные осмотрели да ощупали кандалы, все ли исправно, обыскали кругом арестанта, приняли бумагу и расписались; рассыльный взял опять книгу свою под мышку и, не взглянув больше на Степана, ушел. Дело привычное.

В первый раз попал Степан в такое место – в первый раз, может статья, и заслужил это. И темно, и сыро, и душно, и грязно. Товарищи такие, что страшно на них и взглянуть: кто в лохмотьях, зарос волосами, космы мотаются; кто исхудал под замком, лица не знать, голо-су нет человеческого; а кто еще свеж и дюж, да глядит таким головорезом, что и в остроге страшно рядом с ним лечь. Было тут, как и всюду в таких местах, человека три Ивана Непомнящих; мужики здоровые, бороды чуть не по пояс, а говорят: «Иваном зовут меня, а опричь того ничего не знаю и не помню: ни где родился, ни где вырос, ни отца, ни матери, ни родины – ничего не знаю», – Иван да Иван – так весь век и шатался. Один сидел с женой, с детьми, и тот то же говорит, и жена ничего не помнит, не знает, только знает, что

зовут ее Марьей. «Господи боже мой, – подумал Степан, когда обжился немного в тюрьме, – что за диво, что за Иван да Марья, и выросли я состарились, а знать не знают, ведать не ведают: кто они и чьи они?»

Разговорился раз как-то Иван Непомнящий со Степаном и стал уговаривать его вместе бежать. Степан отказался: «Я, говорит, своей волей попал». – «Как так?» – «Да вот так и так», – «Дурак же ты, видно, был, дурак и есть; да ты отопрись и теперь: улики нет, и ничего тебе не сделают». Но Степан, сколько ни скучал, сколько ни томился в заключении, остался при своем показании и ожидал спокойно участи своей.

Между тем дело все шло своим чередом; водили Степана раза по два в неделю в суд, все снова спрашивались, добирались – нет концов больше никаких, все одно и то же. Дознались, какой такой был товарищ его Гришка, разослали повсюду объявления, не найдется ли где, – выждали отовсюду ответы, что нигде такой человек на жительстве не оказался, и, покончив наконец все розыски, как уже с того света справок навести было не

можно, присудили учинить над Степаном, по собственному сознанию его, по закону, и сослать его в каторгу.

Пошло, однако же, дело это своим порядком, еще из уездного суда в уголовную палату – и там его в одни сутки не порешили; однако же добрались наконец и до него, нашли, что все исправно, – утвердили решение суда, только осталось прокурору отметить: «Читал», да губернатору утвердить приговор, скрепив его по листам, как приказано законом.

Прокурор был человек добрый, а пуще всего смирный, против правды не хаживал, однако же и за дело горазд не стаивал, не надрывался ни над чем. Много за год разных приговоров через его руки проходило, тысячи две, да кроме того тысяч под тридцать решений и постановлений из губернского правления и палат. Все шло у него гладко и ровно, бумага не кричит, что ни напиши на ней, – так она и была нашему смирному прокурору товарищ сподручный; прочтет не прочтет, а напишет с поля: «Читал» – и концы в воду.

Однако приговоры уголовной палаты ста-

рик читывал, по крайней мере от слова: «Приказали»; прочел и дело нашего Степана, да и положил его – не Степана то есть, который все еще сидел в остроге, а дело, – положил на ломберный стол, покрытый цветной салфеткой. На стол этот попадали у него все дела с обстоятельствами сомнительными, по коим собирался он когда-нибудь на досуге подумать.

Долго прокурор наш, расхаживая по комнате или лежа на диване с трубкой, косился на сомнительный стол свой, и в особенности на приговор, по которому приходилось наказывать человека за то только, что он сам сознался в своем преступлении, на которое не было никаких улик. «Оно, конечно, так, – думал про себя прокурор, – тело унесло по Волге. Волга широка, и глубока, и длинна – коли его и примывало где-нибудь к берегу, так мужики такую беду от себя ночью шестами спроваживали; и ничего нет мудреного, что тела нигде не отыскали. Да не знаю почему, а дело кажется мне сомнительным; приговор незаконный; кажется, будто на этом нельзя основать приговора. Надо справиться хорошенько

в пятнадцатом томе». Подумав так, прокурор покосится, бывало, опять на столик свой, да и задремлет либо, смотря по времени, наденет сюртук да отправится на вист.

Между тем время шло: напоминает секретарь один раз прокурору об этом деле, напоминает и в другой и в третий – завтра да завтра, и вместо трех дней давно прошли три недели, а приговор не просмотрен. Наконец пристали к прокурору плотнее, заторопили его не на шутку и говорят, что мы-де в ведомостях о нерешенных арестантских делах покажем это дело за вами.

Только что собрался было прокурор наш, скрепив сердце, подмахнуть приговор, чтобы кончить дело мирно, без шума, как сам председатель уголовной палаты прикатил под прокурорское крыльцо – и вошел и стал, поздоровавшись, рассказывать такие чудеса, что прокурор от удивления под конец сложил молча руки, запустив накрепко пальцы в пальцы, и только пожимал плечами.

– В памяти ли у вас дело, – так начал председатель, – дело Степана Воропаева, который, по собственному сознанию своему, убил това-

рища своего на Сухом овраге? Ну так вообразите же, покойник-то жив!! Да, жив, либо сам нечистый влез в шкуру его да в ней и ходит! Вчера бурлаки или плотники, что ли, какие-то взбунтовались у привольного кабака, подняли такой шум, что весь город сбежался. Что же? Да признали они, сударь, того самого плотника, которого Воропаев прошлого осенью убил. Пристали к нему: «Кто-де ты таков, откуда взялся?» – «Я, говорит, вот такой-то Григорий, ходил в это лето за Волгу, а теперь пробираюсь домой да зашел по пути выпить; в этом, говорит, я виноват». – «Да ведь тебя прошлого лета убили?» – «Нет, господь милывал, покуда терпит еще грехам нашим – живем». – «Да ты со Степаном Воропаевым знался?» – «Как же, знался; летось мы с ним работали вместе вот там-то, и за ним еще моих пятнадцать копеек осталось». – «Ну а вместе с ним вы летось в Казани были?» – «Нет, маленько не дошли, расстались». – «Так ведь тут-то он тебя и уходил; они в остроге сидят, и скоро его уж на кобылу [9] поведут!» – «Оборони господь; нет, этого не было; мы, признаться, оба хмельны были, так и повздори-

ли, выпито было у нас на полтинник – я, вишь, с него еще правил пятнадцать копеек, а он их на мне считает: известное дело, хмельной разум. Так мы сели было отдохнуть, ночь нас захватила, тут я опять приступил к нему да по шее его и ударил; он меня и сам хватил и рыло разбил мне, я и бросил его, умылся на берегу, да и пошел сам по себе, а его покинул. Он, видно, отяжелел больно да тут же и уснул. Больше я его не видал и слыхом об нем не слыхал».

Председатель с прокурором подивились такому дивному случаю; прокурор радовался, что не пометил еще приговора, и стали толковать о других делах: о шести в сюрсах [10] и прочее.

Между тем Гришку с таким показанием отправили в земский суд, оттуда в уездный, там к делу, в уголовную палату, а оттуда уж вместе с делом и со Степаном опять назад, для пополнения следствия. Сколько ни допытывались, ни от Гришки, ни от Степана другого не узнали: а на очной ставке Степан крестился, вздыхал от страха, глядя на Григория, считал его выходцем с того света и говорил: «Власть

ваша, что хотите, то и делайте надо мною, а я его убил». А Гришка уличал его, что он врет, пересказывал ему, припоминал, по приказанию суда, все, как что у них было; а Степан, немея и цепенея от страху, не понимал ничего, ровно одурел, хлопал глазами, вздыхал и оставался при своем показании: больше, говорит, ничего не знаю.

Дело, разумеется, кончилось тем, что освидетельствовали Степана, не сумасшедший ли он, а после сказали ему дурака за то, что он наделал только пустой тревоги, да и велели убираться на все четыре стороны.

Хоть я и не совсем знаю, как все это объяснить, но кажется, что Степан, поссорившись и подравшись хмельной и наяву, видел во сне, будто убил товарища, и видел так живо, что греза показалась ему правдой. Может быть, тут подействовало и воспоминание о невольном убийстве Черноморца в собственную защиту свою, которое осталось навсегда нераскрытым. Не нашедши спросонья подле себя товарища, который ушел ночью, ничего ему не сказавши, да увидав еще на траве или на песке у берега следы крови, – Степан и во-

все смутился, уверил себя, что все это не сон, а явь, пошел да сам на себя и донес. Страх довершил эту несчастную уверенность, и ложное убеждение заступило место истины. Но когда объявили Степану положительно, что он свободен и притом не убийца, то бедняк залился слезами и сказал:

– Нет, уж видно, мне так на роду написано: судьбы не минуешь! Вяжите ж меня опять, я еще другого человека убил... – но ему не дали договорить, а зажали рот и выпроводили вон, приказав убираться. Никто ему не верил, а все считали помещанным, хоть господу доктору и дали свидетельство, что он в полном и здоровом уме.

Долго не мог он опамятоваться после такой проделки; долго ходил ровно без ума, куда наконец Гришка, приставая к нему без всякого успеха целые сутки, чтобы им вместе запить горе, – успел наконец кой-как убедить его, что он несет дичь. Тогда только Степан вздохнул свободно, перекрестился вольной рукой, вспомнил все прошлое – и подумал о будущем. Зелено вино, это продажное горе, опротивело ему до того, что он в жизнь свою

не мог вынести и духу его. Перестав пить, Степан Воропаев вышел человеком и не только зарабатывал что следовало на себя и на своих, но лет через восемь завел свою артель, ходил в синей сибирке с саженью в руках; отец и дед его благословили, и Машка Сошникова, ныне Воропаева, готовила ему, между тем как он был на работе, щи да кашу, а в пост калиники, превкусные и превонючие калиновые пироги.

Примечания

Впервые – «Москвитянин», 1843, часть II, № 3,
за подписью: *Луганский*.

[^^^]

Киль-мунда – иди сюда.

[^^^]

Кизилбаш– пере (букв. – красноголовый).

[^^^]

3

Церковный праздник празднуется 1 ноября
(ст. стиль).

[^^^]

4

Ссыпчина– к празднику Кузьминки у крестьян производилась складчина ячменя, солода и прочих продуктов для изготовления общественного пива и меда.

[^^^]

5

Удельное имение – имение, являющееся собственностью царской фамилии.

[^^^]

6

Волоковое окно – маленькое оконце, в которое также выволакивает дым в курных избах.

[^^^]

Становой пристав – полицейское должностное лицо, заведовавшее станом (часть уезда), должность, введенная с 1837 года.

[^^^]

Слово и дело вымолвил... – Формула, применявшаяся на Руси до конца XVIII века, которая означала, что произнесший ее может или хочет донести властям о каком-либо государственном преступлении.

[^^^]

Кобыла – доска, на которой наказывали приговоренных кнутом.

[^^^]

10

...о шести в сюрех... – карточный термин; *сюры*– старшая масть, козыри,

[^^^]